



Комната
Вилхелма
Тове
Дитлевсен

No Kidding Press

Тове Дитлевсен
Комната Вильхельма

«ВЕБКНИГА»

1975

Дитлевсен Т.

Комната Вильгельма / Т. Дитлевсен — «ВЕБКНИГА», 1975

ISBN 978-5-6047288-4-0

Успешная писательница Лизе Мундус тяжело переживает развод с мужем Вильгельмом. Их долгая совместная история складывается из напряжения и соперничества, любви и ненависти, череды измен, мучительного притяжения и отталкивания. Внутри брака они разрушают друг друга, за его пределами – всех, кто попадает на пути. Лизе дает в газете объявление о поисках нового мужчины, на которое откликается Курт, молодой человек с туманным прошлым. Он поселяется в бывшей комнате Вильгельма, но Лизе не находит покоя. Она публикует в таблоиде серию статей, где открыто рассказывает о крушении своего брака и вновь проходит по всем кругам семейного и личного ада. «Комната Вильгельма» – блестящий модернистский текст, хрупкий и жесткий одновременно. Дитлевсен разворачивает повествование как многослойную метафору потери смысла. Роман отражает опыт отношений Тове с ее четвертым мужем, журналистом и редактором Виктором Андреасеном, но автобиографичен лишь отчасти. Лизе Мундус, знакомая читателям по книге «Лица», живет в зыбком сумрачном мире, который держится на системе двойников и подмен. В нем сталкиваются и порой сливаются воедино рассказчица и героиня, литература и откровения в желтой прессе, бывший муж и его невнятный суррогат, нежный сын-подросток и мальчик Кай с ледяным сердцем, таинственные переговорщики, которые вторгаются в дом Лизе, и навязчивые болезненные мысли, которые разъедают ее сознание.

ISBN 978-5-6047288-4-0

© Дитлевсен Т., 1975

© ВЕБКНИГА, 1975

Содержание

1	7
2	9
3	13
4	16
5	19
6	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Тове Дитлевсен

Комната Вильгельма

© Tove Ditlevsen & Gyldendal, Copenhagen 1975. Published by agreement with Gyldendal Group Agency

© Анна Рахманько, перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. No Kidding Press, 2022

* * *

1

Комнаты больше не существует. Каждый раз, без дела проходя мимо, я заглядывала в мутные окна и следила за ее разрушением. Я молча стояла на бульваре и наблюдала за разрушителями в белом: они всегда делали вид, что не замечают меня. Однако между нами установилось странное, нелепое соглашение, как между двумя обнимающимися людьми, которые ненавидят друг друга до глубины души. Стоило мне в ярких лучах солнца прижаться лицом к окну – и разрушителей тут же охватывало что-то наподобие опьянения, казалось, оно наполняло их сверхчеловеческими силами. Они рушили стены, тащили двери на обнаженных потных спинах, бросали их в контейнер – он стоял прямо у ворот. Пол сотрясался от их чрезмерных движений, напоминающих танец: крошечные половицы паркета не выдерживали их тяжести. Как только исчез высокий потолок с изящной лепкой и тучными алебастровыми ангелами, исчез и мой интерес к этому опустошению, и я принялась восстанавливать комнату внутри себя. Теперь она жила там, наполненная шепчущимися тенями, кротким смехом, напоминавшим насмешливые крики птиц, и теплыми слезами, которые либо можно унять поцелуями, либо им нужно позволить свободно сочиться, словно влаге из разрывов в обоях со следами страсти и сомнений. Я хочу написать книгу о комнате Вильгельма и о событиях, которые в ней начались или произошли. Они привели к смерти Лизе, мне же удалось выжить – и лишь для того, чтобы записать ее общую с Вильгельмом историю. Другого смысла существования у меня нет. Мальчик живет в школе-интернате, куда его отдал отец – после смерти матери ребенок просто рассыпался на части. Это было разумным решением родителя. По выходным мальчика навещает девочка Лене – она похожа на его мать в молодости; они только и разговаривают, что о его детстве – таком мрачном и захватывающем, словно сказка. По сравнению с ним собственное детство кажется Лене таким скучным, что она даже не осмеливается заикнуться о нем. Я же одна, и всё, что делаю, исходит изнутри меня. Люди проходят насквозь, словно я всего лишь тень; только немногие воспринимают меня, как это делали разрушители, но остаются тактичными и притворяются, что не замечают.

Моя нынешняя квартира всего в двух улицах от прежней, но здесь не удастся жить по-настоящему. Слово «дом» потеряло свое значение, стало просто чем-то, что было у меня когда-то. Я сижу за печатной машинкой – она иногда сама решает, какую клавишу нажать. Кроме кровати, шкафа и комода, в этой чуждой мне комнате больше ничего нет. Окна выходят на небольшой двор с мусорными контейнерами и велосипедной парковкой, в точности как в детстве. Остальные три комнаты всё еще заставлены коробками – правда, здесь пожилой вдовец не снял рулонные шторы и гардины, они всё равно не подошли бы к его новой квартире, добытой для него профсоюзом, когда переговорщики наконец-то воспользовались шансом разместить свои системы ЭВМ в бывшей комнате Вильгельма. Это говорит само за себя: комнату должны были разрушить, и переговорщики, с их глупыми и влажными глазами, так же как я и разрушители, стали всего лишь уловкой, чтобы добраться до внутренней истины, наполняющей любую человеческую жизнь смыслом и интересом. В истории Лизе и Вильгельма, которая в итоге, может быть, расскажет о многом другом, не было никаких случайностей и совершенно ничто не могло пойти иначе. Большинство фактов не имеют никакого значения, но некоторые из них неожиданно приобретают удивительный смысл, словно случайно вылавливаешь из мешка тряпку, которая добавляет узорам недостающей динамики и красоты.

Сегодня увезли контейнер, всё ценное оттуда вынули. Оставшееся – бесполезное, ломаный хлам: Вильгельм и Лизе никогда не прирастали сердцем к вещам; два человека, которые каждый день на протяжении двадцати лет навечно расходятся, не могут нажать ничего нового и хоть что-то изменить. Я выбросила любые изображения, чтобы лучше сосредоточиться на картинах на стенках моего сердца. Оставила только одно: моментальный фотоснимок Виль-

хельма и Лизе на холме Химмельбурге. Мы молодые и счастливые и излучаем такую влюбленность, что, возможно, даже вызываем зависть у фотографа. Очередное начало с чистого листа пробуждает в людях желание разрушить уже созданное прекрасное сооружение или по крайней мере пересобрать камни так, чтобы оно получилось кривым и неправильным и больше не слепило глаза. Самое странное в настоящей любви – она хочет быть выставлена напоказ, как будто всё, что бы ни делали эти двое счастливицев, требует к себе внимания целого мира. Уже невозможно припомнить всего, что на самом деле было сказано друг другу, хотя тогда это и казалось страшно важным, и они почти не теряли времени на сон, ведь он означал молчание. Не успевали они осознать это, как молчание уже становилось естественным, а разговоры – своеобразной лихорадкой, охватывавшей их. И опасная пустота начинала заполнять зазоры между словами, которые они по несколько раз перекатывали во рту, прежде чем решались выплеснуть. Стены сдвигались, в комнате нечем было дышать. Но приходилось что-то говорить, неважно что, хотя и это стало непосильным: слова тонули в глубокой горькой тоске наших душ.

Остались лишь (с прошлого года в Биркерёде) такие слова, как «мясник», «дождь» или «мальчик», и мы со скрежетом перемалывали их сухими тихими голосами, чтобы избежать чего-нибудь страшного, предотвратить это порочное и необратимое событие. Был ли Вильгельм красивым? Безупречная кожа цвета густых сливок, смешанных с кофе. Высокие скулы, казалось, подтягивали глаза к вискам. Серо-карие, с темной каемкой вокруг радужки – под ними уже стлались дымчатые тени, которые выдавали наполненную страданиями и страстями жизнь. Я не понимала, как женщинам, которым не довелось его повстречать, удавалось чувствовать себя счастливыми, но точно так же потом я не понимала, как кто-нибудь мог влюбляться в него, когда я сама уже давно его не любила. Но они могли (нежная смиренная вереница парикмахерш, продавщиц, стажеров и фабричных работниц) и влюблялись, и с их чувством к нему ярко разгоралось и мое, и оно гнало прочь из его сердца, полного тайн, этих маковых барышень, эти хрупкие наброски, тонкие начинания. Мой Вильгельм, мой!

И, конечно, именно Милле – я привязалась к ней так крепко, что даже не знала, по кому из них больше скучаю, – именно она увела его! Милле не была ни молодой, ни красивой, ни умной, но ее хладнокровие превзошло наше, когда мы, изнуренные своей страстью, лежали и смеялись над маковыми барышнями, чьи прохладные лепестки беспрепятственно уносил ветер. «Так больше не могло продолжаться», – писала она в своем дурацком письме. Но что все наши страдания рядом с блаженством удовольствия? Полгода назад, узнав, что Вильгельм растолстел, Лизе металась в бессильной ярости. Милле набивала его, словно тушку гуся, холила, начищала и погребала все его темные мысли под горой печеночного паштета. Так не стало того Вильгельма, которого знала Лизе, от Милле ее воротило. Обычно гнев обрушивается на любовницу, но даже с ней Лизе помирилась, когда уничтожила собственный мир. А теперь я расскажу свою историю, и лишь потому, что просто обязана. И никому другому не сделать этого с той же точностью и непринужденностью...

2

Фру Томсен жила на доходы от сдачи комнаты молодым юношам из хороших семей. По крайней мере, именно таких она зазывала в своих газетных объявлениях. Я не вполне исключая возможность, что в незапамятные времена где-то в ее огромной и грязной квартире существовало несколько таких свежих, еще с юношеским пушком парней, но, поскольку один лишь ее взгляд студил кровь в моих венах, исхожу из того, что они мгновенно исчезали. Фру Томсен подозревала своих съемщиков во всех нераскрытых преступлениях и почти не позволяла себе спать в страхе упустить недостающую улику, постоянно и неутомимо следила за передвижениями жильцов. Если они не исчезали сами, хозяйка выставляла их на улицу. А новые постояльцы появлялись прежде, чем она успевала сменить постельное белье. По крайней мере, так она объясняла им охрипшим запыхавшимся голосом, не поспевающим за мыслями, точно у людей с заиканием. Дойдя до красочного описания невообразимого блюда съехавших жильцов и причитаний о невозможности занять их делом – ведь она несчастная, больная и старая вдова, знавшая лучшие времена, – фру смягчалась до монотонного блеяния. Квартиранты фру Томсен становились всё старше и уродливее, и единственным занятием, которому они посвящали себя, был подсчет клопных укусов, оставленных насекомыми за ночь.

Старухе же было всё равно. Стоило им пожаловаться – и, опередив квартирантов, она выставляла их за порог. Нередко она призывала для этого полицию и не забывала обратить внимание комиссара на все нераскрытые убийства, случившиеся за последние дни – и всегда в то время суток, когда подозрительным съемщикам удавалось ускользнуть из-под ее надзора. Она не упускала случая добавить, что однажды и ее найдут в постели с перерезанной глоткой. Я же не признаю ее правоту: если такое существование и возможно, то всевышний обычно отправляет жестокую и мгновенную смерть. Но меня не интересовало, что ожидало фру Томсен. Она всего лишь лоскуток моего мутного сознания, что покачивается на волнах слов и причаливает к ним с просьбой о помощи, в точности как я прошу читателей о помощи и даже о любви, в каком бы образе ни появлялось мое лицо: жидкое и нематериальное, как отражение в беспокойной воде, оно всплывало впереди других лиц, за которые было намного проще уцепиться.

Мы жили этажом ниже фру Томсен. Так как она редко выходила за порог своей квартиры, за все десять лет я встречала ее только три или четыре раза. Она молча впивалась в меня изучающим взглядом, будто хотела чего-то и злилась, что еще не наступило время. Ее глаза всегда были налиты кровью, словно она никогда не спала, и в ее уродстве крылось что-то настолько совершенное, что пробуждало во мне трепет уважения. Ее взгляд был таким холодным и ненасытным, что еще несколько дней после встречи наводил на меня страх. Ее спальня находилась прямо над комнатой Вильгельма, и я ощущала, как ее низкие пошлые мысли просачиваются сквозь потолок и смешиваются с моими – различить их было невозможно. Я почти уверена, что она стояла, прижавшись хрящеватым волосатым ухом к входной двери, в тот день, когда Милле неожиданно появилась в гостиной и заявила: «Как ужасно! Он больше никогда не вернется, и это после двадцати одного года вместе!» Вскинула руки, и ее лицо стало мокрым, словно кто-то нажал на кнопку включения оросительной системы, и я бросилась к ней, чтобы затолкать в нее слова обратно вместе с кучей зубов, готовых раствориться, как и вся Милле вместе со скелетом: ей хотелось превратиться всего лишь в мокрое место. Чуткость Милле, ее ужасная нехватка понимания, ее пронырливость! И мальчик, повзрослевший в одно мгновение, смотрел на всё глазами своего отца и пользовался его голосом: «Исчезни немедленно! Ты уже натворила достаточно бед!»

Довольной старухе пришлось, сторбившись, убраться к себе. Она ненавидела всех женщин без исключения, если они были моложе и красивее нее, что означало примерно всю жен-

скую часть человечества. Она ненавидела миф о настоящей любви, и этот день доказывал ее сомнения в существовании этого чувства. Но всё же тень такой любви лежала между уродливой хозяйкой и молодым человеком, которого покинула жизнь – да он и сам себя покинул. На нем старуха практиковала нездоровую силу притяжения – так что даже вонь из ее рта была частью этого.

Пусть и не в полную силу, но Курт всё-таки жил. Каждый раз утром, когда фру Томсен заходила к нему, он притворялся спящим, но сердце колотилось от мыслей, что может произойти. Вокруг становилось темно, и пока она, прихрамывая, приближалась к нему со своей непрерывной болтовней и шурами нескончаемых газет, его тело начинало пылать. Он нежно гладил себя под скомканным одеялом покойного херре Томсена, которое пахло нафталином так резко, что истощенные клопы предпочитали погибнуть голодной смертью, чем приблизиться к нему. Хозяйка забавляла его невообразимыми историями об отвратительных убийствах на сексуальной почве и ужасающих смертельных муках, за которыми она, казалось, следила с равнодушной аналитической ясностью, словно планируя собрать наблюдения в некий научный труд. Под дрожащими веками Курт видел разбросанные по операционному столу воспаленные внутренности, и пьяные врачи тщетно пытались запихнуть их обратно. И он с жутким нетерпением ожидал мгновения, когда пациент очнется от наркоза и скончается от штормового моря крови и безумной боли.

Существовало много разных вариаций необычного ораторского представления, которое фру Томсен растягивала, насколько только можно, прерываясь только на надрывные отчеты еженедельных изданий о прекрасных юных девушках, отважно смотрящих в глаза надвигающейся смерти от рака, или о несчастной семье, чей ребенок был найден мертвым и подвергнутым грубому надругательству рядом с мусорными контейнерами, причем в ту самую ночь, когда исчез квартирант. Но она никогда не упускала нужного момента. Как только жертва начала задыхаться, а руки под одеялом застывали на одном месте, она скидывала с себя синий халат и бросалась на него со страстью, которая только росла от ответного пренебрежения. Тогда он наконец-то открывал свои удивленные кукольные глаза: они были наполнены своего рода взволнованным восхищением перед силой в этом истощенном теле. После он мгновенно засыпал и, так как его совершенно не интересовали другие люди, никогда не задумывался над жизнью своей причудливой любовницы, когда она находилась вне поля зрения. Ему это было безразлично, точно так же, как не волновал его и вопрос, почему жертва до сих пор не сдалась и не умерла от одной из многочисленных неудачных операций. Единственное объяснение, иногда мелькавшее у него в голове, было таким же, как и у всех окружающих: жертва существовала лишь в его фантазиях. Но Курт не осознавал этого, потому что никогда не испытывал надобности в самоанализе. Некоторые ждали от него великих свершений. Он и в самом деле когда-то – до того, как люди перестали ждать от него хоть чего-нибудь, – принимался за целый ряд невнятных начинаний. Но фру Томсен, которая не позволяла никакой ценности оставаться неиспользованной и приписывала другим людям столь же низкие свойства, какими обладала сама, – фру Томсен уже давно раздражало, что это здоровое и пригодное тело валялось без дела, причем за ее счет. Не исключено, что ее заботило его счастье, но только если оно могло привести к несчастью окружающих. Кроме убийств и других жутких новостей она каждое утро скрупулезно изучала страницы с объявлениями. Она настолько была озабочена тем, чтобы успеть прочитать их быстрее всех, что стояла наготове за дверью и подхватывала газеты прежде, чем они успевали коснуться пола.

Этим воскресным утром Куртом, как обычно, владела ленивая дремота, в то время как уверенность в том, что скоро должно случиться, росла в нем, словно плод, который созрел ночью и ждал, чтобы его сорвали. Но этот благоговейный, ужасный и волнующий момент не наступил, потому что старуха ворвалась в комнату, в суматохе забыв прихлопнуть на лысом темени свой привычный сальный парик. (Волосы она потеряла еще во время одной из неудач-

ных операций, проведенных врачом, с которым до сих пор судилась.) Курт ошеломленно уставился на нее, в его голове пронеслась мысль: дом в огне, или жилец-убийца гонится за Фру Томсен с ножом. Тут взгляд упал на раскрытую газету в ее трясущихся руках, и он мгновенно ощутил себя уставшим и совершенно незащищенным. Мелкая дрожь в кончиках его пальцев утихла, и он недовольно сжал узкие ноздри, когда она опустила на край его кровати и врезалась сухим ребристым ногтем в объявление с красным обрамлением, и без того выделявшееся своей длиной.

– Это она, – прошипела старуха ему в ухо. – Никаких сомнений. Прочти! Шанс всей твоей жизни.

– Кто? – Курт прижался к стене, словно надеясь, что та поглотит его хрупкое тело (хозяйка кормила только при необходимости и время от времени), вберет в свою кислую влагу и позволит проскользнуть между слоями обоев.

– Эта, что живет под нами, Лизе Мундус со своими любовными стихами. Я частенько тебе рассказывала, что у них творится. Мне всё стало ясно, когда увидела, как они с мальчишкой возвращаются с летних каникул одни. Предыдущий был слишком для нее умен. Она сбежала от него с этим, с нынешним. Брошенную женщину всегда узнаешь – по крайней мере, я могу: она выглядит голее, чем если ее совсем раздеть. Месяц назад за ней приезжала скорая, и такое уже не в первый раз. Хотя ее мужчина красотой и не отличался, сумасшедшая жена – это, должно быть, сущий ад. Она считала себя слишком утонченной, чтобы со мной здороваться. Но оказалась не слишком утонченной, чтобы дать объявление о поиске нового мужчины! Я-то никогда не опускалась так низко.

Всё это словоизвержение происходило на одном дыхании и с такой одержимостью, будто старуха боялась, что голос ее иссякнет, прежде чем она выскажется. Курту в этот момент казалось, что, будь у него нож и хотя бы толика злости и энергии, он с совершенным хладнокровием перерезал бы ей глотку. Жизнь была перебежкой от одного убежища к другому. От одной мечты к другой, а между мечтами только голод, холод и страхи...

Он прикрыл глаза и залез еще глубже под нафталиновое одеяло. Вежливо произнес:

– Если вы непременно хотите, чтобы я прочел это объявление, будьте так добры привести себя тем временем в порядок.

Он никогда не обращался к этой женщине на «ты», имени ее он тоже не знал.

Фру Томсен, которая очень ценила хорошие манеры, покорно удалилась, издав такой звук, будто проглотила устрицу. Курт рассеянно прочитал объявление, пытаясь вспомнить, что же он слышал об этой женщине. Но сюда же влились похожие истории, зловонные и раздражающие авантюры из человеческой клоаки – это был единственный мир, знакомый старухе: извращения, которые становились только чудовищнее от одного лишь намека на них. Зевая, он пробежался взглядом по объявлению, пользуясь своей почти утраченной способностью зацепиться за самое важное. «Вырвавшаяся из долгого и несчастливого брака, пятидесятилетняя, но молодая душой, с чудесным сыном пятнадцати лет, известная личность в датской литературе, летний домик, просторная квартира в центре города, временно выбитая из колеи нервным срывом, желательна с машиной». Курт выронил газету на грязный пол и вдруг почувствовал непреодолимое желание увидеть небо. Он почти двадцать лет перебивался лишь узкой полоской, которую удавалось разглядеть между крышами и стенами. Он потряс головой, чтобы тоска снова опустилась на дно, где и полагалось быть прошлому. Он не дорожил воспоминаниями; если к ним никогда не возвращаться, они тускнеют и исчезают. Возраст женщины испугал его, как и наличие друзей детства: со временем они превратились в карикатуры детей, которых он когда-то знал и с которыми когда-то играл. Курт Ущербный приходил в ужас от одной только мысли о страшных взаимобязанностях, которые могла потребовать эта женщина. Но Курт Добрый был тронут скромным выражением «желательна с машиной» и видел в этом не более чем отчаянную возможность ускользнуть от бессердечных требований хозяйки.

Усталость повисла за его веками красными танцующими точками: всё было кончено – мечта осталась позади, и необходимо было совершить неисчислимое множество неприятных действий. В жизни Курта всегда присутствовало что-то такое, что больше не могло продолжаться, стоило ему только с этим смириться. Тут его существование едва ли отличалось от жизни других людей. Всегда найдется кровать умершего и кто-нибудь подходящий, чтобы расправить на простынях глубокие интимные складки, образовавшиеся за ночь. Всегда найдется фру Томсен, чтобы объявить, что этому нужно положить конец, и Курт Добрый или Курт Грозный, которому придется с этим смириться.

Когда хозяйка, у которой, по ее собственному выражению, недоставало более половины всех жизненно важных внутренних органов, а остальные находились в угрожающем состоянии, вернулась в свою бездонную пещеру сладострастия, одного ее вида было достаточно, чтобы изгнать из головы Курта любые мысли о спасении. Она натянула не только седой плешивый парик, но и что-то напоминавшее платье, синее и ниспадающее, которое – что бы это ни значило – разрушило их странный утренний ритуал навсегда.

– Вы правы, – смиренно произнес Курт. – Это шанс всей моей жизни.

Кто-то или что-то закопошилось внизу, в оставленной Вильгельмом комнате. Полоска холодного солнца закрутила водоворотом пыль вокруг незаправленной постели, и кровать слегка поскрипывала на собрании сочинений Хёрупа, которые Вильгельм украл у министра иностранных дел, когда они жили в Студиергордене¹, в те далекие времена, когда никто из них и не мечтал достичь вершин власти, на которых они теперь оказались. Тяжелые шторы источали зловоние, как будто пот пробивался сквозь дешевый парфюм. Возможно, ангел с лепнины на потолке морщил нос от запаха мочи из перевернутой напольной вазы – ею Вильгельм пользовался, когда, пьяный и отчаянный, не мог заставить себя выйти из комнаты. И возможно, в этот самый момент одна из маковых барышень выворачивалась из случайных объятий, пробужденная воспоминаниями о чем-то невероятном, что когда-то произошло с ней, – о чем-то, что стоило забыть, если хотелось жить дальше. Невозможно вообразить, что даже тень всего этого тянулась через сердце хозяйки в тот момент, когда она с улыбкой на губах, обнажавшей ее протезы с голубизной обезжиренного молока, протянула Курту Беглецу ручку и бумагу, чтобы ответить на объявление.

С уверенностью можно заявить: она не осознавала, что этим поступком подписывала смертный приговор единственной форме любви, которую когда-либо знала.

¹ Студенческое общежитие в Копенгагене, было построено по проекту известного датского архитектора Мартина Борха в 1923 году. – *Здесь и далее, если не указано иное, приводятся примечания переводчицы.*

3

Лизе, совершенно отсутствующая, проснулась в слабом синем ночном свете от того, что Грета приподнялась с прямой спиной в своей кровати, как в саркофаге; сухие горящие глаза пристально смотрели на Лизе.

– Я боюсь сойти с ума, – произнесла она.

– Для этого у тебя нет никаких причин. – Лизе успокоила ее. – Просто слабые нервы.

Охваченная жизнерадостностью и физическим благополучием, она проскользнула под кожу Грете и умелой рукой отправила замысловатые откровенные мысли обратно на дно ее кристально-чистого внутреннего мира. Крепкое и красивое тело Греты осторожно опустилось и откинулось на подушку, и голосом обыкновенной домохозяйки она произнесла:

– Лизе, включи свет, выкурим по одной.

Тем самым она помогала Лизе отсутствовать, сама об этом не подозревая. Этому ее научили многочисленные недели совместного житья. Она никогда не оставляла Лизе выбора: решала за нее, руководила и управляла любым ее движением. Сейчас она решила, что Лизе не стоит спать, а нужно покурить. Они лежали, приподнявшись на локтях, при свете ночника и приглушенно беседовали, и их совсем не смущало, что снаружи кто-то кричал. Это всего-навсего новенькая, которая пока просто не разобралась, что к чему. По правилам курить в постели запрещалось, как и зажигать свет ночью, но соблюдение этого предписания никого особо не интересовало. Напротив, если долгое время проявлять признаки ненормального поведения, вас исключают из закрытого отделения для душевнобольных женщин. Каждый согласится со мной, что кричать посреди ночи, бегать голышом по длинному коридору или, что хуже всего, бить цветочные горшки, которыми кухарка фру Водсков, истинная управляющая отделения, украшала узкие подоконники, – всё это ненормально. Такой дерзости не было никаких извинений даже для новеньких, и главному врачу во время его поспешных еженедельных визитов больше не приходило в голову искать оправдания в защиту провинившейся. И в те немногие разы, когда он всё-таки пытался это сделать, фру Водсков всё равно превращала жизнь самонадеянных пациенток в ад, еще худший, чем снаружи, о котором ты, мой любимый, знаешь не понаслышке. Тем болванам, что до сих пор верят, будто миром руководит разум, могло бы, естественно, показаться, что здесь выписывают больных и держат здоровых, но Лизе и Грета вложили всю свою хрупкую безопасность в это кроткое, установленное законом безумие, что и было их самым ярким желанием, – остаться здесь.

– Завтра придет главврач, – сказала Грета, – черт бы его побрал!

– Нам ничего не будет. Я отработала две смены на кухне, а ты помогала садовнику.

Работа в саду свидетельствовала о высоком доверии, этой должности желали все, за исключением тех, кто мечтал выписаться, а таких было немного.

– Завтра явится Курт Третий, – со смехом произнесла Лизе.

– Тебе придется взять его на себя, – серьезно заявила Грета. – Ты больше не можешь продолжать отказываться от них всех. – Последний, кажется, пролежал в рассоле полгода.

От одного только воспоминания о нем Грета залилась смехом. Это был невысокий, полный и лысый банковский служащий, который намеревался продать летний дом Лизе, на выручку купить облигации, а драгоценного мальчика отправить в школу-интернат. Внизу, в ресторане «Сковли», он, как и первый кандидат, угощал кофе и бутербродом с сыром, потцовски объясняя Лизе, что не стоит забивать свой маленький мозг всякой ерундой, касающейся денег. Он обо всем позаботится, пока она будет лежать и поправляться. У него отвисла челюсть, когда он узнал, что Лизе передала ведение своих хлопотных денежных дел социальному работнику и ей больше не приходилось забивать свой маленький мозг ничем другим, кроме сотни крон, выделяемых в неделю на карманные расходы.

Объявление было делом рук Греты. Когда выпадало несчастье потерять мужа, несомненно требовалось найти нового и предъявить ему требования, не скрывая собственных преимуществ. Лизе, вероятно, перечислила их все и лишь помогла Грете с написанием трудного слова «литература». Длинное и заметное объявление, разумеется, служило только предлогом, чтобы заполучить Курта Растерянного, который просочился бы сквозь потолок в комнату Вильгельма, – так переговорщики и разрушители были лишь предлогом и сами по себе не представляли никакого интереса. Так вы и я – лишь предлог для роковых взаимодействий между совершенно незнакомыми нам людьми, с которыми мы, возможно, никогда не встретимся. Только Богу известны взаимосвязи, и ему приходится потакать разного рода веселым или злым прихотям, чтобы не умереть со скуки на своем высоком небе.

Грета, затушив сигарету, отправила неодобрительный взгляд Ван Гогу с отрезанным ухом на стене (или, точнее, совсем без уха).

– Этот – единственный из всех, – задумчиво произнесла она, – кто ни словом не обмолвится о походах на природу.

Мы на мгновение покинем Лизе и Грету: у них всё хорошо, и они ни в ком не нуждаются. Пока они мило и весело болтают о неистовой склонности кандидатов в мужья к путешествиям на природе, мы позволим ночи за окном замереть – пусть она хотя бы разок вздремнет, а утро наступит пораньше. Где-то лежала Милле и разглядывала матовыми глазами-изюминками моего бедного Вильгельма, в котором ей еще не удалось убить воспоминания о нашей с ним сырой, жестоко-яростной и нежной жизни. Но она запаслась терпением. Ей потребовалось два года, чтобы перетащить его из одной постели в другую, теперь же торопиться некуда. Он болен, напуган и беспомощен, но она поставит его на ноги, поскольку, в отличие от маковых барышень, верит: то, что она называет любовью, может творить чудеса. Для начала она потеряла ему спину (мой Вильгельм, ведь он принимал ванну лишь на праздник Богоявления), одела в чистую пижаму и уговорила съесть миску супа. Всё вместе это очень разумно и одновременно очень нелепо. И вдруг Милле вся затрепетала, как маленькая хилая птица. Это чисто физическая усталость. Она пахала как лошадь, чтобы спасти этого редкого и ценного человека от отношений, которые едва не убили его. Несколько месяцев она наблюдала, как он пичкал себя виски и снотворным, которые ей приходилось заказывать по телефону: она ни на секунду не могла оставить его одного. Милле не перебивая слушала его ненавистные и горькие жалобы о брошенной им женщине, как ей казалось, незнакомой, хотя однажды она потеряла ей спину. Милле потеряла спину и нашему бесприютному мальчику, пока его дорогое лицо не начало расходиться по швам так, что она могла заталкивать в смеющиеся трещины витаминные пилюли и здоровую еду.

Время от времени она слышала сладкие пожелания спокойной ночи, предназначенные другой, и смирилась с тем, что он называет ее чужим именем в те мгновенья коротких отчаянных объятий, которыми было просто невозможно насладиться. Злая Милле устала. Ее злоба заключалась лишь в том, что она не могла смотреть на несчастных людей без того, чтобы не попытаться осчастливить их. И несчастные тянулись к ней, словно обезображенные и умирающие к святому источнику. Они обступали ее, как ядовитые грибы, скорее красивые, чем опасные, если их просто оставить расти в покое. Но Милле не могла оставить в покое темные и непроницаемые умы. Ей нужно было снять гниль с дерева, хотя именно эта гниль и держала его. Ее неутомимость внушала страх и подводила ее только перед лицом полного изнеможения. На мгновение тонкий червячок сомнения закрадывался в ее сердце при виде бледного лица Вильгельма, испещренного каплями пота.

И ее мы тоже оставим спать, пока ночь по моей команде затаила дыхание. Порочная и невинная Милле, чья настоящая сила состояла в отсутствии таланта, растянулась всем своим здоровым правильным крестьянским телом с теплыми и мягкими сосками, опустила тяжелые веки, чуть голубоватые из-за темных зрачков под ними. Просто невозможно не любить Милле

хотя бы немного, но не больше, чем эту гнусную фру Томсен, Курта, Грету и Лизе Отсутствующую, потому что я присутствую во всех них – присматриваю за ними, пока ночь дремлет.

Но пора будить Курта, если он хочет успеть на поезд в Роскильде в одежде покойного, которую фру Томсен уже извлекла скрюченными руками из укромных тайников.

4

Они приближались к пивной, каждый со своей стороны, эти два человека, ставшие друг для друга единственной возможностью. Смех ночи разлетался позади Лизе, и хотя Грета и завязала ей грубую зюйдвестку шнурком под самым подбородком, холодный дождь всё равно впивался в лицо жесткими острыми когтями, проходящими сквозь слой коричневых румян – ими Грета пыталась смягчить двадцатилетнюю разницу в возрасте. Несколько прядей свежесмытых волос вырвались из прически чайной дамы². Ее перед зеркалом в ванной Грета соорудила несколько часов при помощи медсестры из отделения, которая, может, что-то и понимала в психических заболеваниях, но совершенно не разбиралась, как должна выглядеть женщина на таком странном randevu. Словно куропатка, волочащая за собой сломанное крыло, Лизе сделала несколько последних шагов по мокрой грунтовой дорожке – неловко и вприпрыжку, серые глаза под ресницами с толстым слоем туши не отрывались от соломенной крыши пивного заведения. Страх, что Грету выпишут во время ее отлучки – хотя только Лизе разрешили покинуть палату до прихода главврача, – был единственным в мире и отгонял всякие мысли об ожидавшем ее юноше. Так и Курту Охотнику страх никогда больше не увидеть фру Томсен мешал получить хоть какое-то впечатление о Лизе, когда она расположилась напротив него с улыбкой на накрашенных губах – они дрожали, словно у ребенка, готового расплакаться.

– Я с нетерпением ждала встречи с вами, – набравшись храбрости, сказала Лизе. Перед собой она видела лишь мокрую тряпичную куклу, которая вот-вот разойдется по швам.

– Я тоже, – солгал Курт тем обходительным тоном, пользоваться которым его научили люди, когда-то возлагавшие на него большие надежды и потратившие на него много времени. Его молодое, бледное лицо возвышалось над слишком большим воротничком херре Томсена, что делало юношу похожим на клоуна, чье трагическое выражение должно было усилить комический эффект. Официантка с веселым любопытством долго рассматривала причудливого гостя, но не смогла подавить радостное хихиканье, когда до нее дошло, что это один из мужчин Лизе. Пока та принимала заказ, Курт сидел с нахмуренным видом: он не выносил, чтобы в его окружении царил веселье хоть в каком-то проявлении.

– Кофе и сыр, как обычно?

– Да, спасибо, – ответила Лизе, не повернув головы. Она нервно скользила по скатерти холодной рукой, ногти были покрыты розовым перламутровым лаком Греты. Интересно, помнит ли Грета ее наставление? «Если вызовут к врачу, просто скажи, что у тебя всё еще бывают навязчивые идеи».

– Разрешите помочь вам снять плащ?

Курт предпринял слабую попытку встать, но Лизе быстро его опередила и сама сняла плащ, повесив вместе с зюйдвесткой на крючок в стене. Когда она снова села, с любовью завернутая в платье чайной дамы, одолженное у Греты, обоих заняли размышления о том, что бы такое сказать, чтобы перейти к делу.

– Забавно, – сказала Лизе, – что вы живете прямо надо мной.

– Да, но, как я уже писал в письме, оставаться там я больше не могу. Фру Томсен поставила меня в совершенно безвыходное положение.

– Вы можете поселиться в комнате моего мужа, – торопливо произнесла Лиза.

– А что, если он вернется?

– Не вернется.

– А мальчик?

² Авторский неологизм. Обозначает обеспеченную женщину строгих консервативных взглядов, чопорную, склонную осуждать других.

– Он не будет возражать.

Короткие, напоминавшие деловые переговоры фразы грубо сорвали занавес между Лизе и мерзкой действительностью. Она отчаянно пыталась схватиться за него, стягивая обеими руками ворот платья, словно опасаясь, что мужчина может разорвать на ней одежду и изнасиловать прямо здесь. Она наблюдала за дождем, и несколько нежных строк возникли у нее в сознании и слетели с губ сочными цветами:

*Повсюду на улицах дождь,
И он же в сердце моем.
Я целый мир обошла,
Покоя не обретя.*

Курт ее не слушал. Со свойственной нищете близорукостью он был поглощен мыслями: как остатками вшивого начального капитала, которым его снабдила фру Томсен, покрыть и счет в ресторане, и такси до станции. Обратный билет у него был. Преодолеть большое расстояние пешком представлялось ему столь же маловероятным, как и позволить женщине платить за себя в общественном месте.

– Верлен... – совершенно напрасно объясняла ему Лизе, пытаясь припомнить отрывки письма Курта, за которые уцепилась, потому что Грете они показались очаровательными. Что-то насчет прерванного юридического образования, которое, к сожалению, не оставляло ему столько времени, сколько бы он хотел посвящать литературе, а ведь именно она была его любимым предметом в гимназии. Что-то насчет неловкой ситуации – какой-то скорой перспективы. Одинокий, жаждущий любви. Лизе захотелось – несчастье сделало ее такой же близорукой, как нищета – Курта – со всем этим покончить, вернуться домой и дать Грете удовлетворительный отчет, та наверняка нетерпеливо ждала ее в комнате с оранжевым светом от гардин, вечно задернутых. Неожиданно ее снова накрыло страхом, что Грету могли выписать, пока она транжирила тут время. Накрыло так сильно, что ей необходимо было узнать об этом прямо сейчас.

– Мне нужно отлучиться и позвонить, – объяснила она и положила на стол три бумажные купюры по десять крон. – Ты пока можешь рассчитывать, – она отлично понимала его смущение, так что выбрала легкий и тактичный способ помочь ему с этим справиться. Лизе перешла на «ты»: он моложе ее и не мог предложить подобное первым.

– Грета, – произнесла она задыхаясь, – главный врач уже заходил?

– Нет, он заболел, тебе нечего опасаться. Ну как дела?

– Великолепно, – Лизе счастливо рассмеялась. – Он ужасно милый. И сделал комплимент твоему платью.

– Seriously сделал? Значит, я не ошиблась в его письме. Не забудь в конце дать ему ключи от квартиры.

– Да, но ему нужны деньги – кажется, у него нет и пяти эре.

– Отдай ему всё, что у тебя с собой, – велела Грета, – а завтра можешь отправить чек. И спроси, умеет ли он готовить. Ты рассказывала, что фру Андерсен не особо хорошо это делает.

– Да, спрошу, – пообещала Лизе, укутанная не только в платье Греты, но и в ее безграничное доверие к молодым людям с образованием и изящным стилем письма.

С разгоряченными щеками она поспешила к столу, напоминая теперь уже не подбитую птаху, а скорее ту, кого Курт с ужасом представлял себе как знатную даму. Он слишком устал, чтобы вообразить что-либо, кроме долгого сна в нежной постели под одеялом какого-то незнакомца.

Он с рассеянной и вежливой улыбкой взял ключи и, собрав остатки внимания, выслушал заверения Лизе, что чек придет завтра же. Сам же он заверил ее, что умеет готовить, и, несмотря на облегчение – ведь ему удалось выпутаться из затруднительного положения

(такое же облегчение испытывает крыса, заведя свет на другом конце узкой канализационной трубы), – его гордость была уязвлена неповажительной скоростью, с которой Лизе покидала его. Он еще с минуту сидел и разглядывал тучную официантку с ясным, ничего не выражающим взглядом куклы. У нее почему-то пропало желание смеяться. Отрывки душераздирающих песен непринужденно и сладко разлетались в ее голове, окаймленной нежной тоской, которая побудила женщину к жесту, не свойственному ее закаленной натуре: она поставила бокал пива перед бедным юношей, попавшим в сети Лизе без всякой возможности высвободиться. Курт Вежливый выпил пиво и, возможно, в знак благодарности произнес:

– Я отлично знаю Верлена.

После этого он заполз обратно в слишком просторный белый воротничок херре Томсена и заснул на заднем сиденье такси, пока Лизе Отсутствующая выбиралась сквозь дождь, как из горящего дома. Ее длинные распущенные волосы жалко свисали над угловатыми плечами, а сама она была почти без сознания, когда наконец обрушилась в любящие объятия Греты и со смехом рассказала ей то, во что Грете хотелось верить и что ей хотелось знать. У мужа Греты жесткие руки и каменное лицо, которое никогда не морщится. Он привозил сюда свою жену, когда она начинала говорить странности, и забирал, когда прекращала. У них взрослая дочь, унаследовавшая каменное лицо и все связанные с этим обязательства. Они никогда не бросят Грету, как Вильгельм бросил Лизе. Тем не менее жизнь Греты была настоящим кошмаром. Она отрешенно таранилась на свою корзину в супермаркете, роняла петли в вязанье повседневной рутины и забывала приготовить еду к шести часам – к возвращению каменных лиц с работы. Она совершенно неподвижно пялилась на маленьких детей в колясках, разглядывающих свои умильные пальчики-колбаски ясным загадочным взглядом, пока раздраженные матери не увозили их с глаз долой. Недавно полиция обнаружила ее на заднем дворе: она стояла на коленях, прижав к себе мурлыкающего котенка, – ни имени, ни адреса не помнила. Мягкого теплого зверька просто невозможно было у нее отобрать, и Грете позволили держать его, пока за ней не заперли дверь. Котенка отняли, и протяжные крики разорвали воздух. Грета не осознавала, что громкие звуки вылетали из нее, словно злой зверь вцепился ей в глотку. Только когда крики превратились в отрывистый детский плач, ее охватил дикий и немой ужас: она сошла с ума. Она – чье существование было таким уединенным и чьи повседневные обязанности, как уверяли каменные лица, ни в коем случае не превосходили ее сил. Грета смывала остатки макияжа с изнуренного лица Лизе у раковины в углу наполненной оранжевым светом комнаты.

– Он был хорош собой? – спросила она из-за спины Лизе.

– Определенно, – ответила Лизе, уже совсем позабывшая его. Каштановые волосы Курта так низко свешивались на лоб, что казалось, будто брови их удерживают. Но она не стала делиться с Гретой таким странным наблюдением.

5

С беззаботной неблагодарностью, которая так идет избалованным детям, мальчик тянется за вареньем, в то время как фру Андерсен, всегда целомудренно пахнущая мылом и утюгом, осторожно очищает яйцо от скорлупы. Между ними в халате Вильгельма сидит Курт – ему хочется поскорей забраться обратно в постель, пока фру Андерсен будет проветривать и убираться после ухода мальчика в школу. Забота об этом хрупком мальчике наполняет и предопределяет всё существование фру Андерсен, ее мнение о Курте сжалось в одно короткое предложение, которым она поделилась с мужем: «Могло быть и хуже!» Она имеет в виду, что тот не подворовывает из хозяйского столового сервиза и, как ни странно, кажется, нравится мальчику. Мальчика зовут Том, и с длинными прямыми девичьими волосами на тон светлее ресниц, нежной кожей и стройной фигурой он выглядит намного моложе своих лет. Лишь слабая темная линия на его короткой верхней губе намекает на сложные времена, и окружающие задаются вопросом, растут ли у него усы или он всего-навсего забыл умыться.

Круглое, как луна, лицо принимает довольный вид, когда фру Андерсен видит, что яйцо получилось не слишком твердым и не слишком жидким. Мальчик награждает ее одной из своих беглых улыбок и сбрасывает остатки яйца коту, который привередливо расхаживает по белой скатерти и залезает чистым языком в банку с вареньем, медом или свежим маслом. Он с коричневой маской на мордочке, сиамской породы и принадлежит мальчику, у которого, к вечному недовольству фру Андерсен, на руках и ногах постоянно неглубокие царапины после диких игр с животным; во всем остальном он обычно настолько трепетно относится к своей коже, что постоянно воет, когда шампунь попадает в глаза, как бы осторожно фру Андерсен ни мыла ему волосы. Это напоминает ей о временах, когда к злой Милле перешла привилегированная должность, с самого рождения мальчика принадлежавшая фру Андерсен, – волшебное возмещение семени, которое херре Андерсену так и не удалось отправить в положенное место и в положенный срок. Ее так задело это, как она считала, хитрое и вероломное действие, что несколько вечеров подряд она развлекала своего добродушного мужа рассказами о том, насколько опасна эта женщина в отличие от предшественниц, которые, по крайней мере, держали руки подальше от невинного мальчика. «Это плохо кончится, – подытожила фру Андерсен. – Хозяйка думает о других только хорошее и даже мысли не допускает, чтобы кто-то желал ей зла».

Внутри фру Андерсен существовали две строго разделенные комнаты. В одной находились люди, которых она просто любила без надобности понимать или критиковать их странные поступки, в другой – остальная часть человечества, к которой она предъявляла столь же строгие моральные требования, как и к самой себе.

– Ты рад, что твоя мама сегодня вернется? – спросила она.

– Рад, – ответил мальчик с таким отрешенным видом, что фру Андерсен не была уверена, расслышал ли он ее слова. Он не рассказывал ей об ужасных событиях, произошедших за время ее отсутствия, а сама она не расспрашивала. Должно быть, мальчик ужасно страдал от того, что об объявлении так много писали в прессе и его бедная мать не могла защитить себя. По мнению фру Андерсен, ничего плохого в объявлении хозяйки о поисках нового мужа не было, за исключением того, что об этом прознали бессердечные журналисты.

Мальчик с прищуром посмотрел на газету – раскрытая, она лежала между ним и Куртом. Его внимание привлек заголовок, напечатанный жирным шрифтом: «Десятилетний мальчик дает показания против своего отца». Перед ним возникла картинка из учебника по истории. Относившаяся к эпохе Французской революции, она изображала маленького мальчика с руками за спиной, одетого в бархатный костюм с белым девчачьим воротничком. Целый ряд судей смотрели на него с кривыми ухмылками. «Где твой отец?» – гласила подпись. Но, хотя

ему грозили страшные пытки, он продолжал повторять, что ничего не знает. То же самое Том ответил фру Андерсен – правда, она спросила всего однажды. Его отец находился во власти Милле, как и Курт, который еще недавно был во власти ведьмы сверху и теперь оказался в безопасности. Когда Том был маленьким и всё еще жил вместе с матерью в опасном и захватывающем мире фантазий, однажды это ужасное создание вцепилось в него на лестнице – он тогда возвращался из школы. Мальчик закричал от дикого ужаса, отец бросился на помощь и вырвал его из когтей. «Держите свои грязные лапы подальше от моего сына», – прокричал отец, заключив мальчика в теплые, бережные объятия. А вот Курту он рассказал – фру Андерсен заболела бы от ревности, если бы узнала, что он, такой неповторимый, рассказал этому обтрепанному человеку, для которого не было места ни в одной из комнат ее сердца, – рассказал о том славном знаменательном дне, когда Том в одиночку прогнал Милле и сделал для своей матери то, что и полагалась сделать. И всё это в тумане нереальности. Скрестив руки, как «принц с ледяным сердцем»³ из школьного спектакля, где однажды играл главную роль, он указал ей на дверь. «И так эта сука убралась отсюда, – объяснял он Курту, – и я позвонил в службу спасения. Мама пришла в себя только в машине скорой помощи». Курт, отождествлявший себя с мальчиком – чувство, наиболее близкое к проявлению симпатии, – красноречиво восхитился этим героическим поступком, на что Том скромно ответил: «Я поступил в точности так же, как поступил бы мой отец».

В столовой, с ее высоким потолком и старомодной потрепанной элегантностью, стоял сухой, теплый и пыльный запах. Курт рассеянно смотрел на пятно на стене, похожее на вытянутую грязную слезу. Это был след от тарелки с жарким из баранины, которую Вильгельм когда-то в истерическом припадке швырнул в стену, и мальчик рассказывал об этом событии и подобных ему так, будто они случались исключительно чтобы позабавить и развлечь его. «Моя мама? – произнес он со свойственной ему смесью ребячества и опыта. – Конечно, она плакала и выла, но на самом деле не могла без этого обходиться».

Он не радовался возвращению матери так сильно, как представляла себе фру Андерсен. Он любил ее как всегда, но темная дрожащая грань тревожного беспокойства окаймляла это чувство. Как она могла продолжать жить без его отца?

Он протянул перед собой тонкие загорелые руки со светлым пушком, неловко и обаятельно, словно козленок, и все трое застыли в движении, как будто перед невидимой камерой, которая фиксирует снимок с мягким щелчком, заставившим дверь в комнату Вильгельма распахнуться. Гнилая вонь, напоминавшая о застоялой воде в вазе с цветами, просачивалась сквозь пол, и от злого душераздирающего смеха слегка кренилась запятнанная стена; неживой взгляд ангела с лепнины, казалось, уставился на мягкое углубление в подушке Вильгельма. Разрушение уже давно началось, переговорщикам об этом отлично известно.

– Судя по объявлению, – произнес один из них, – мужчина не вернется.

– Не вернется, и она всё для этого сделала, – подтвердила его жена.

– Вопрос лишь в том, по карману ли ей продолжать здесь жить?

– И вообще, законно ли пересдавать это жильё?

– Контракт не запрещает, иначе мы бы уже давно вышвырнули фру Томсен и ее компаньону в придачу. Но меня больше интересует, что ей приносит ее писанина.

Тот же самый вопрос занимал Грету, когда она в прошлый раз в ванной мыла волосы Лизе. Но она не задала его. Этого не сделал никто, за исключением фру Водсков, которая стояла в дверном проеме, оперев руки в бока, точно ручки пузатого кувшина. Она произвела на свет четырех детей, которые обзавелись хорошими рабочими местами и приличными отношениями, и, в отличие от Греты, совсем не была впечатлена молодым человеком, появившимся в жизни Лизе. «Подлый брачный аферист», – сказала она вечером мужу, который работал сани-

³ Имеется в виду Кай из сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева».

таром и в целом не жаловал людей с тридцатью с половиной экзаменами и туманными перспективами занять какую бы то ни было должность. Обычно фру Водсков не беспокоила дальнейшая судьба пациентов, после того как они исчезали из ее поля зрения. Но Лизе – другое дело: она написала песню на конфирмацию ее младшего ребенка и этим не только обеспечила себе надежное место в сердце фру Водсков, но и навсегда освободилась от еженедельных дежурств на кухне.

– Фру Могенсен, – спросила она (здесь никто не обращался к Лизе по ее настоящей фамилии), – сколько у вас остается в месяц после уплаты налогов и аренды?

Грета бросила на нее сердитый взгляд, а Лизе – над краем раковины виднелась лишь шея, вся в мыльной пене, – ничего не расслышала. К счастью. Для защиты от мыла глаза были прикрыты тряпицей, из-под которой текли слезы. Задавшись целью подготовить Лизе к встрече с молодым возлюбленным, Грета пыталась пережить разлуку без слез, и дальнейшая жизнь подруги и мальчика казалась ей одновременно потрясающей и само собой разумеющейся, как в старом сериале. Саму же Лизе это как будто не интересовало, она едва удосужилась пробежаться по письмам Курта. Ей было достаточно того, что в комнате Вильгельма теперь появится что-то живое, и это живое, похоже, угождало ее бедному брошенному мальчику, которому, в представлении Лизе, никогда не будет больше двенадцати лет – в точности как Киму из ее детских книг. Работая над ними, она называла своего сына Кимом; храбрый и отважный, он стал героем Тома. С матерью за руку мальчик часто прогуливался по окраинам города, чтобы запомнить, как одеваются дикие и опасные люди из книжек о Киме. Днем эти люди спали, а по ночам выходили на грабеж со складными ножиками в карманах залоснившихся штанов. Бесшумно, как кошки, они сновали по узким улочкам, и утром мальчик почти боялся идти в школу, страшась обнаружить за воротами полицейского с ножом в спине. И каждый раз немного смущался, когда на улице никого не оказывалось. Главарь шайки с темными кудрями, в точности как у Курта, носил красные носки и кроссовки.

Он ненавидел женщин так же, как Курт и мальчик ненавидели старуху сверху. Возможно, именно «чудесный пятнадцатилетний сын» больше всего смущал Тома в странном объявлении, доставившем ему столько хлопот. Детство готово было вот-вот ускользнуть от него, но он влезал в него, словно в штаны, которые стали слишком тесны и не застегиваются, даже если втянуть живот. Взрослый Том никого не интересовал. Никому не нужен был такой невообразимый человек. Он знал, что его мать, сама того не осознавая, переставала любить собственных детей, как только они выросли. Она теряла уверенность по отношению к себе, и ей достаточно было знать, что у них всё хорошо и они не слишком несчастны. У Тома были уже повзрослевшие сводные сестра и брат, настолько старше его, что им не довелось провести детство вместе. Когда мать госпитализировали (странно представить, что когда-то она тоже приходилась им матерью), они звонили или даже приходили и предлагали помощь. Немного погодя после исчезновения отца его сестра, на двенадцать лет старше Тома, которую он почти никогда не видел, отправила его в Роскильде, чтобы убедить мать поскорей продать летний домик. Сестра не хотела, чтобы отец мог потребовать свою половину – а точнее, Милле, против которой и была направлена вся злоба.

К таким практичным советам Лизе обычно прислушивалась, даже если была не в состоянии предвидеть их последствия. Она написала доверенность на продажу дома на отдалившуюся от нее дочь: та разбиралась в юридических вопросах. Когда Лизе выплатили крупную сумму денег и выдали два закладных листа – их можно было обналечить в затруднительном положении, – она чувствовала себя так, будто получила грант. Положив деньги на сберегательную книжку, она ощутила себя в полной безопасности. Но теперь, когда на счету впервые в жизни оказалось более ста тысяч крон, из налоговой пришел счет на шестьдесят шесть тысяч. Адвокат, занимавшийся продажей дома, посоветовал заплатить и радоваться, что у нее вообще есть деньги. После случившегося она снова оттолкнула от себя окружающий мир, как непослушного

ребенка, которому придется подождать со своим нытьем. С той счастливой поры в Биркерёде она не знала нужды и точно понимала, что ей не справиться с бедностью и несчастьем одновременно. Мальчик, которому ни разу не отказывали в чем-либо, ссылаясь на слишком высокую цену, это тоже понимал. Он винил себя, что вернулся домой с каникул лишь потому, что не мог спокойно поспать и ночи: голос отца беспрерывно ревел и кричал, свистел проклятым ветром у него в голове, влетая в одно ухо и вылетая из другого. И мать кричала вместе с ним, кричала и плакала, и умоляла пожалеть хотя бы мальчика. И тут сердце Тома принималось колотиться так, что от этого некуда было деться и никак не получалось это остановить. И он мчался в город на мопеде, звал приятелей, заполнял ими квартиру и забывал обо всех ужасах, пока его сердце не становилось таким же, как все прочие. Он звонил домой и спрашивал у матери, там ли всё еще его отец – если да, Том не возвращался. «Приходи, он у Милле», – говорила Лизе. И говорила так спокойно, словно это была больница, где о нем позаботятся и не причинят вреда.

Том снова ехал домой: мать радовалась, радовалась и Кирстен – прислуга, взятая на лето. Они играли в карты и разгадывали кроссворды, и именно тогда всё и началось: имени Вильгельма не упоминали, но думали о нем. Вот что мы думали: «Господи, убереги нас от него подольше. Пусть всё закончится к его возвращению. Пусть он наслаждается „великолепным телосложением“ Милле (словно построенной на верфи, как подшучивала я вместе с Томом). Пусть довольствуется „энергичностью“ Милле, пусть продолжает восхищаться, что она „никогда не остается без дела“». (Она обладала располагающей способностью к одному из тех нескончаемых псевдопутёвых видов деятельности, что никогда не приводят к сколько-нибудь видимому результату.) Дай бедной отважной Милле, которая желает нам всего самого хорошего, сил терпеть эту смесь из виски и снотворного до тех пор, пока он снова не станет нашим великим отцом, пока не произнесет: „Женушка моя и единственный сын мой, отрада моя“. И прежде всего не допусти, чтобы он пришел на ужин с издателем. Иначе он только всё испортит и нас всех распугает. Сердце Тома снова заколотится так, что он подумает, будто умирает. И мне, Лизе, придется притворяться перед любезными, но незнакомыми людьми, будто у нас так принято. Что бы ни произошло, у нас постоянно возникают такие смешные и сумасшедшие ситуации, когда приходят гости. И в целом они всегда радуются, что такое не случается у них, и хотя у них всё по-другому, но далеко не лучше, чем у нас».

Но то, что его имя никто не произносил вслух, не помогало, и он вваливался сразу после гостей, после всех этих приготовлений, что наполняли Лизе предвкушением и радовали так, что ее движения сливались с ее мечтами. Она разливала по рюмкам шнапс и рассказывала что-нибудь, от чего издатель заливался хохотом. Смеялись все, и так, считал мальчик, и продолжалось бы, если бы только отец так ужасно не изменился, если бы только Милле не расстилалась перед ним, словно бегунья, стирающая самую ужасную грязь с ботинок, прежде чем они коснутся паркета. Боже милостивый – и отец неожиданно появлялся в дверном проеме в самой опасной стадии опьянения, с пеной у рта и с пронзительным безумием в покрасневших глазах. «Нет, до чего забавно», – произносил он негромко и потирал сухие ладони друг о друга. Звук напоминал о наждачной бумаге, и в тот момент никакого другого звука не существовало: мальчик едва успевал увидеть, как отец, пошатываясь, направлялся к столу, прежде чем с криком испуганной птахи проскочить мимо родителя и метнуться к своему мопеду, который простоял весь день на солнце, поэтому его сиденье обжигало сквозь штаны. Лишь через много километров его сердце снова успокаивалось, и с тех пор отца он больше не видел, мать же ничего не рассказывала о том, что происходило дальше в тот самый день. Он вовсе не был «чудесным мальчиком», он был эгоистичным болваном, которому нравилось чувствовать, как длинные прохладные пальцы Милле скользили по его волосам, когда она их мыла!

– Этого бы не случилось, если бы мальчик не уехал домой, – говорила Лизе, пока Грета энергично растирала ее волосы махровым полотенцем, не подозревая, что больше никогда не увидит подругу. Наделенная талантом искреннего лицемерия, Лизе пообещала заходить и

писать и с особым тщанием вывела на обрывке бумаги адреса каменных лиц, что вырвались из ее рук и мыслей – так увядающие лепестки милых маковых барышень осыпались на половицы в комнате Вильгельма. Она уже даже не помнила, как Грета выглядит. Если бы ее труп через несколько часов привезли в Институт судебно-медицинской экспертизы, то Лизе не смогла бы опознать ее.

Заботы исчезли в раковине вместе с водой и слезами.

– Ему нужно начать жить собственной жизнью, – осторожно заметила Грета. – Не стоит забывать, что он теперь почти взрослый.

Но к Лизе снова вернулась способность слышать только то, что ей хотелось. Ее не было ни в настоящем, ни в будущем. Последнее, что она помнила из действительности, был день, который стал преждевременным концом ее жизни. В этом дне было что-то такое, чего она еще не могла разгадать. Мысли всё время проходились по всему произошедшему легко, словно лапы кошки по клавишам пианино, касаясь так слабо, что не издавали никакого звука. Милле не могла знать: Лизе приняла таблетки, чтобы скрыться от нарастающего невыносимого страха перед тем, что Вильгельм никогда не вернется. Это мрачным образом оправдывает Милле, которая меньше всего ожидала увидеть в своих объятиях Лизе без сознания. Последний человеческий голос, который ей довелось услышать, принадлежал мальчику – гордому, чувствительному и одинокому. Последняя мысль – удивление при взгляде снизу на дрожащие щеки и подбородок Милле: «Да ведь она вовсе не красива!»

6

Открытое письмо Вильгельму

Любимый мой, всё-таки сложно быть такой бесконечно одинокой и не видеть никого, кроме бюрократов с их холодной, как у рыб, чешуей, которые, несмотря на все мои усилия, всё-таки прикасаются ко мне, протягивая что-нибудь для подписи. Сложно не спать, уткнувшись лицом в твою теплую влажную подмышку, и не слышать такой знакомый звук твоих коротких жестких ресниц, царапающихся о подушку. Во мне же тебе не хватает других ощущений, о которых я даже не догадываюсь, потому что двум людям невозможно испытывать одно и то же одновременно. Может быть, мы, никак не связанные друг с другом, заперты в маленькой комнате и терпим это только потому, что не отдаем себе в том отчета. Стареть – значит бесстрашно рассматривать на свету все свои переживания, даже самые болезненные. В конце концов, понятно, что они не повторятся. На это нет времени, нет совершенно никакой возможности; бешеная страсть, однажды погнавшая нас через все возможные нормы, любые границы, установленные для развития влечения людьми, жившими до нашего появления на свет, – именно эта страсть потускнела и утонула как гордое и прекрасное напоминание о тех, кто больше не выносит чужих прикосновений. Я не знаю, где ты теперь, знаю лишь, что это место, обставленное другой по собственному или чьему-то еще вкусу. Потому что ты никогда не пытался создать очаг, и, в точности как у меня, у тебя нет никаких вещей, доставшихся по наследству. Мы часто вспоминали о том, как были счастливы тем летом в Хорнбеке, когда нашему мальчику исполнился всего год и он делал свои первые шаги. Но к тому времени несчастьем уже было положено начало, так же незаметно, как внутри нас растут клетки. Ни один фотоаппарат не подмечает столь безжалостно, как взгляд человека, внутри которого схлынула первая слепая волна любви. Сердце ни в чем не разбирается. Но запечатленный образ никогда не стереть. Прежде чем он появится вновь, может, пройдут года, а может, и считанные дни.

Мы лежали на пляже в Хорнбеке, всего в нескольких минутах ходьбы от снятого домика. У нас обгорели плечи: мы заснули под палящим солнцем. День клонился к вечеру. Мы уже искупались несколько раз, и больше я не хотела. После сна я немного мерзла. Вокруг нас было множество людей, и мы наблюдали за ними, словно через прутья клетки. И так уже три года подряд, совсем не задумываясь. Мы были за пределами клетки и могли подходить к ним, когда пожелаем, они же наружу выбраться не могли. Я не захотела, и ты пошел купаться один, я, прикрыв глаза от солнца рукой, рассматривала тебя: ты осторожно шел по мелководью, стараясь не порезать босые ноги о камень или что-нибудь острое. Неожиданно меня поразила мысль: он уже вовсе не молод! В твоей позе и нерешительных движениях было что-то – легкий намек на разрушение, почти незаметный, но он присутствовал, и мне удалось его разглядеть. С этого момента оно медленно пойдет на спад, и в этом было что-то ужасно грустное – настолько, что мне пришлось моргать на солнце, чтобы сдержать слезы.

В это мгновение к моей страсти впервые примешалась нежность, и, когда это происходит, начинаешь любить по-другому – еще сильнее, но точно менее чувственно. Тебе было тридцать пять, а мне на два года больше. До знакомства у каждого из нас было длинное прошлое в роли взрослых. Сейчас у меня три ребенка от трех разных мужчин. У тебя – дочь, которую ты никогда не видел. Ты уже сирота, мои родители еще живы. Но в нашем нынешнем существовании не было ничего похожего на жизнь, которую мы до этого вели порознь. Это всё теснилось за решеткой, за которую нам нравилось заглядывать, но, Вильгельм, мы начали использовать других людей, ни на секунду не задумываясь, что и у них есть своя жизнь, а мы врываемся в нее, возможно, иногда меняя ее траекторию. Я считала опасным воплощать в реальность свои самые сокровенные мечты. От подробных рассказов о твоих связях с другими девуш-

ками я страдала, хотя одновременно это меня возбуждало, поэтому, когда ты долгое время оставался верен, брак казался мне немного скучным. К этому моменту я изменила тебе единственный раз, отчасти по ошибке – полное безумие: старый художник застал меня врасплох в спальне, где объяснял моим родителям, которых я пригласила на обед, что там свет лучше, чем в столовой. Я рассказала тебе об этом (по неясным причинам, которые осознала только позже), ты долго бушевал в бессмысленной ревности, после чего мне приходилось снова и снова подробно пересказывать тебе все подробности; старый ловелас был бы одновременно польщен и поражен, если бы ему довелось услышать эти лживые и яркие преувеличения о нашей крошечной интрижке. Было ясно, что супа из этого уже не сварить, и совершенно ясно, что друг для друга нас теперь недостаточно. Интересно, смотрел ли ты на меня в моменты, когда я считала, что за мной никто не наблюдает? И, возможно, думал: заметно ли по ней, что она родила троих? Но потом ты прочитал мои стихи. Осенью у меня выходил сборник, и некоторые стихотворения из него были вдохновлены моей любовью к тебе. Удивительно, как много это значило даже для такого одаренного человека, как ты. Это были далеко не лучшие стихи сборника. Но твое восхищение всё равно начало окаймляться желтой, обтрепанной кромкой злобы и зависти. Я показала тебе свое любимое стихотворение, ты же, к моему разочарованию, всего лишь пожал плечами и произнес: «Если бы я не открыл для тебя лирику Рильке, ты бы ни за что в жизни не написала этого». Это было правдой, и стихотворение перестало мне нравиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.